
**НОВЫЙ
ЖУРНАЛ**

X

НЬЮ-ИОРК

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

THE NEW REVIEW
RUSSIAN QUARTERLY

под редакцией
М. М. КАРПОВИЧА и М. О. ЦЕТЛИНА

X

НЬЮ-ИОРК
1945

О Г Л А В Л Е Н И Е :

Редакция. — Франклин Д. Рузвельт	5
И. А. Бунин. — Чистый понедельник	7
М. А. Чехов. — Жизнь и встречи	22
М. А. Алданов. — Истоки	51
И. Макаев. — В усадьбе	133
Н. В. Кодрянская. — Серафима	148
Е. Рубисова. — В Лувре	153
О. Жигалова. — Полустанок Васьково	156

СТИХИ :

В. В. Набоков, Татiana Остроумова, Татiana Тимашева	168
--	-----

ВОПРОСЫ ДНЯ :

Н. С. Тимашев. — Мысли о России	174
Г. П. Федотов. — Россия и свобода	189

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО :

В. М. Чернов. — Литературные мытарства Чехова	214
В. А. Александрова. — Русский театр во время войны	226
В. М. Зензинов. — По советским журналам	239

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ :

Р. Г. Винавер. — Вожди кадетской партии	250
Г. Я. Аронсон. — Московские зимы	263
Н. Н. Гиевский. — Из театральных воспоминаний	276
Б. И. Николаевский. — П. Б. Струве	306

Е. А. Извольская. — Духовный фронт французского сопротивления	329
Н. П. Рашевский. — В. И. Вернадский	233
М. О. Цетлин. — А. Н. Толстой	338

ЭМИГРАЦИЯ И СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ :

От редакции	241
Статьи Н. П. Вакара, М. В. Вишняка, Ю. П. Денике, С. М. Соловейчика	243
М. М. Карпович. — После победы	361

РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ :

Б. И. Николаевский. — Герценоведение	274
Д. Н. Федотов-Уайт. — «Советская Россия» Д. Ю. Далина ..	284
М. М. Карпович. — «Русско-польские отношения» С. А. Ко- новалова	386
Западные границы России	387
С. А. Комаров. — Книга проф. Б. П. Бабкина	388
В. И. Коварская. — Художники «Мира Искусства» в Америке	390
Д. Н. Федотов-Уайт. — «Встреча с Россией» В. М. Зен- зинова	393
М. М. Карпович. — Книги Г. В. Ланцова и Р. Фишера о Сибирю	394
Н. С. Тимашев. — «Владмир Соловьев» П. П. Зубова	396
Е. А. Извольская. — «Скакун» Н. С. Калашникова	397
В. М. Зензинов. — «Речи и статьи» О. О. Грузенберга	398

П. Б. СТРУВЕ

(1870—1944)

В Париже, незадолго до его освобождения, похоронили Петра Бернгардовича Струве... Еще одна большая фигура, столь характерная для старой, пред-революционной России, ушла из жизни, — еще под одной страницей ее истории смерть поставила свою точку.

Было бы несправедливо писать о нем некролог обычного типа. 30 лет тому назад, — в статье, посвященной памяти Витте, — Струве сам объяснил почему: «обычные» некрологи, это — «собрание умолчаний, плод ретушировок, продиктованных чувством невыясненности того лица, оценку которого после всепримиряющей смерти приходится давать». Меньше всего про Струве можно сказать, что он является уже вполне выясненной фигурой, — и к его работам, и к его личной биографии историкам придется еще часто возвращаться. Но ему, как и Витте, не нужны ни умолчания, ни ретушировка, ни тем более всепримиряющая снисходительность. Он был тоже «сложной и противоречивой фигурой», и хотя его противоречия были совсем иного порядка, чем противоречия Витте, они не менее тесно связаны со всем его обликом. Умалчивать о них, пытаться их ретушировать в погоне за «хорошим тоном» обычных некрологов не только невозможно, но и нежелательно: при всей значительности этих противоречий, в них есть свое сложное единство, понять которое можно только вскрыв до конца существо этих противоречий. А именно это существо, именно это из преодоленных противоречий вырастающее единство и обеспечивает за Струве право на особое, его собственное, место в большой истории идейных исканий и политического формирования России.

1.

Он был весьма разносторонним человеком, с исключительно широким кругом интересов, но он, прежде и больше всего, был политиком: в том смысле, что политическая дея-

тельность была для него, — говоря его любимым определением, — основной с т р а с т ь ю его жизни. О чем бы он ни писал, — даже о филологии, — в написанном им всегда пульсировала политическая жилка, всегда чувствовалось горячее дыхание политической злобы дня. Но он меньше всего принадлежал к тому типу политиков, которые проблемы текущего дня берут под углом прежде всего их сегодняшнего значения. Старый принцип: «довлеет дневи злоба его» — никогда не был его принципом, никогда не определял его поведения. Быть может, как никто из его современников, он был ф и л о с о ф о м в п о л и т и к е, имевшим большую, общую концепцию развития, и от частного, преходящего всегда стремился подняться именно к этому общему, определяющему. Именно поэтому его отклики на события дня в свое время часто казались чрезмерно абстрактными, далекими от жизни, но именно поэтому же теперь, в историческом аспекте, они еще более часто приобретают и особый интерес, и особую значительность. С ранней молодости приучивший себя мыслить большими линиями развития, он в «злобах дня бегущего» всегда старался ловить элементы, которые связывают этот день со днями минувшими и в то же время дают возможность протянуть от него нити к неведомым дням грядущего... Правда, при этом он нередко ошибался, но мысль, протянутая вдаль, в попытке проследить определенную тенденцию развития, даже если она ошибочна, всегда больше дает для действительного познания современности, чем плоские истины самодовольных, которые ведут себя так, будто они, по выражению Горького, носят истину в своем «жилетном кармашке».

В политике для него истина не оставалась неизменной. Он вообще не был «однолюбом» в политике, — не принадлежал к тому типу людей, которые всю жизнь сражаются под одним и тем же знаменем и задолго до своего конца знают, что их похоронят, закутав в его остатки, пусть жестоко потрепанные пронесшимися бурями. Знаменам он не был верен, за свою жизнь не раз их менял, и принял за это на себя не мало нападков. Но если мы внимательно посмотрим в эти смены, то убедимся, что они введены в определенные рамки, — часто более тесные, чем амплитуда колебаний во взглядах его обличителей, — от Троцкого («Господин Петр Струве в политике») до «младоросов» («Покаялся ли г. Струве?»). На всех этапах своей жизни он не только имел одну и ту же основную т е м у своих исканий; в основе он всегда признавал только **о**дно и е е р е ш е н и е: этой темой была проблема путей

развития России, — этим решением был перевод страны на рельсы свободного развития частно-хозяйственных, капиталистических отношений. Э т о й теме он ни разу не изменил, она была в полном смысле этого слова основной темой всей его жизненной работы. От э т о г о ее решения он никогда в жизни не уходил.

И еще в одной плоскости Струве сам поставил грани для своих идейных скитаний.

Его решение основной проблемы требовало проведения значительных преобразований в России, — по меньшей мере, как тогда любили говорить, «капитального ремонта старого здания». Историей для этого было открыто три основных пути. Это были те пути, которые Бакунин в начале 1860-х годов выразительно связал с тремя именами: «Пугачев, Пестель или Романов?» Иными словами: путь пугачевской, крестьянской революции, восстания деревни против города; путь интеллигентски-городского, более или менее радикального, — революционного или реформистского, — преобразования страны, и путь реформ сверху, проводимых старою властью, которая осознала необходимость в соответствии с потребностями времени перестроить страну методами «просвещенного абсолютизма». В рамки спора об этих путях вмещаются все оттенки т а к т и ч е с к и х исканий русской общественной мысли для едва ли не всего «петербургского периода» русской истории (корни их мы теперь можем проследить вглубь, — вплоть до елизаветинской эпохи). А роль этих споров была тем более значительна, что они никогда не были только тактическими спорами; вопросы тактического вывода в них постоянно были связаны с основными проблемами социологии.

К пути Пугачева никогда не лежало сердце Струве, и его постоянное отталкивание от народничества во многом определялась наличием в последнем элементов апологии крестьянской стихии, — преклонения перед приведенным в движение деревенским Ахероном: почти органическое отталкивание от последнего было характерно для Струве даже в тот период, когда он, перенимая и терминологию молодого Маркса, называл себя не социал-демократом, а коммунистом (недоверие к крестьянскому Ахерону, впрочем, было сильно и у Маркса). Но, с другой стороны, и путь «просвещенного абсолютизма» не был путем Струве, хотя он лично и вышел как раз из той среды, которая культивировала взгляды, близкие именно этому кругу идей. Как мы знаем из его собственных рассказов, даже еще не юношей, а подростком он сознательно (и по рассудку, и

по страсти, говоря его словами) выбрал второй путь, путь борьбы за преобразование страны, и до конца (речь сейчас идет, конечно, только о до-революционном периоде) шел именно этим путем. Только в рамках различных вариантов этого второго пути и проходили все его идейные скитания, все его попытки найти конкретные методы решения указанной выше основной проблемы развития России, — даже в те годы, когда он (за последней перед революцией период) был уже полон сомнений, правилен ли этот его выбор...

Тот факт, что он, испробовав так много вариантов этого второго пути, каждый раз продумывал соответствующий вариант до философски обобщенных выводов, делает историю его личных скитаний особенно интересной, — особенно поучительной¹⁾.

2.

П. Б. Струве вышел из высоко-культурной семьи, которая дала России ряд ученых и администраторов. Начало ей положил проф. Василий Яковлевич Струве, — сын директора гимназии в Альтоне, который вслед за своими братьями эмигрировал в Россию, чтобы уклониться от сомнительного счастья быть завербованным в наполеоновскую армию. Он стал не только академиком и создателем Пулковской обсерватории, поставившим ее на первое место в ряду обсерваторий всего мира (Ньюкомб, знаменитый американский астроном, ее тогда называл «астрономической столицей земного шара»), но и основателем русской школы астрономов вообще.

Его сын, Бернгард Я., отец Петра Б., выбрал иную карьеру. Он с отличием окончил Александровский лицей, в 1847 году, когда там еще все было полно свежими воспоминаниями о другом Александре, об А. С. Пушкине (отсюда культ Пушкина, который П. Б., унаследовав от отца, бережно пронес до могилы). Перед ним лежала широкая дорога легкой карьеры, но он по доброй воле отправился в далекую Сибирь, к Мура-

¹⁾ Дальнейший очерк, конечно, далек от полноты даже в наметении о с н о в н ы х моментов идейно-политической биографии Струве; его отдельные части явно не пропорциональны общественной значительности соответственных этапов развития Струве. На всем этом отразились индивидуальные особенности того интереса, с которым автор этих строк подходит к истории общественно-политической борьбы в России.

вьеву (будущему Амурскому), которого как раз в том 1847 году Николай назначил генерал-губернатором Восточной Сибири с широчайшими полномочиями: вакханалия злоупотреблений в этом огромном, заброшенном крае вела к развалу, который начинал становиться жизненно опасным для судеб России на берегах Тихого океана.

К деятельности Мурафьева можно относиться по-разному. Его многие критиковали, и в этой критике, несомненно, имелось не мало обоснованного. Но и относясь к нему критически, нельзя не признать, что он не просто по-полицейски встряхнул огромный край, а действительно много сделал для его развития. О времени его «княжения» (так говорили о нем в Сибири) с полным правом можно говорить, как об «эпохе великих реформ», которая в Восточной Сибири началась десятилетием раньше, чем в остальной России. Решение поехать туда на службу молодому Струве, — как и аналогичное решение десятилетием позднее молодому Крапоткину, — было продиктовано желанием служить родной стране. Работе он отдался с энтузиазмом, участвовал во всех больших путешествиях своего патрона (а это были труднейшие путешествия по непроходимым тропам) и выполнил ряд ответственных работ. В его формулярном списке стояло, что он «1-го января 1852 года открыл Якутскую область». Этот курьез был результатом неграмотности канцеляриста, но огромную работу по административному устройству области он действительно провел, и новая система управления, введенная им с 1 января 1852 года (ему тогда было всего 25 лет!), продержалась едва ли не до самой революции. Его «Воспоминания о Сибири» являются крайне ценным документом эпохи. Его самого они рисуют молодым энтузиастом-реформатором, который с почтительным вниманием прислушивался к наставлениям стариков-декабристов (у Волконских и Трубецких он был принят, как свой) и, конечно, был восторженным поклонником Муравьева-Амурского: последний действительно обладал даром очаровывать людей, — в этом отношении показателен не столько Бакунин (он в людях никогда не умел разбираться), сколько Прудон, на взгляды которого и по русскому вопросу, и по вопросам международной политики сильное влияние оказал именно Муравьев-Амурский (французским биографам Прудона этот эпизод до сих пор остается неизвестным).

Нечего и говорить, что именно его влияние было определяющим и для мирозерцания молодого Струве: последний на вещи смотрел глазами своего патрона, думал его думами. А о

том, как воспринимали эти думы ближайшие сотрудники Муравьева, мы знаем по сибирским письмам Бакунина. В глазах этих сотрудников Муравьев был государственным деятелем типа и масштаба Петра Великого, развернуться которому мешают интриги «вольнотпущенного петербургского лакейства». Захватывающе-грандиозные планы колонизации и строительства на берегах Тихого океана, осуществлять которые можно было только методами государственного принуждения, были органически связаны и с презрением ко всем «несекомым сословиям» (отсюда конфликты муравьевского окружения с нарождавшейся краевой интеллигенцией, которая не хотела быть объектом для его экспериментов), и со своеобразной любовью к «секомому народу», который «беспомощен, как ребенок» и «решительно требует, чтобы его тянули вперед» (сам не идет)... Это был действительно «путь Романова», — путь «просвещенного абсолютизма»!

Способный, энергичный и честный, не пугавшийся трудной работы, молодой Струве быстро сделал карьеру, и уже к 30-м годам занимал губернаторский пост. Но столь же быстро эта карьера и оборвалась. И .С. Аксаков позднее писал о нем:

«Человек примерной честности, отличных административных способностей, оказался на русской службе неудобным: слишком прям и мужествен, неподатлив... Таких служба не терпит»²⁾).

С 1867-1868 годов Струве-отец поселился в Петербурге. Отставной губернатор в полу-опале, на сокращенном пенсионе и с большой семьей. Надежды на возможность вернуться к активной службе все тускнели. Чтобы затыкать прорехи в хозяйстве, приходилось подрабатывать частной службой. Нескольким позднее он взялся и за литературный труд: переводы, статьи. С конца 70-х годов имя Б. Струве начинает встречаться в «Русском Вестнике» Каткова, в «Руси» Аксакова, в «Русской Старине»... В центре его интересов стоял «героический» эпизод его собственного прошлого: работа с Муравьевым-Амурским. Этой работе посвящены воспоминания, большая часть статей.

²⁾ Из редакторского послесловия к статье: «К истории упразднения крепостного права в Пермской губернии» («Русь, № 13 за 1883 год, стр. 59). — Статья эта подписана лишь инициалами «Б. С.»; в списке печатных работ Б. Струве она не значится («Русский Биографический Словарь»), — тем не менее его авторство бесспорно.

Он мечтал написать биографию Муравьева и вместе со своим другом, М. С. Волконским (сыном декабриста), собирал для этого материалы. Смерть не дала довести работу до конца; начатая рукопись так и не была опубликована. Муравьев-Амурский и до нашего времени остается без своего биографа: суконная (и по языку, и по мыслям) работа Барсукова в счет не идет...

3.

Младший сын в семье П. Б. с ранних лет был приобщен к кругу ее духовных интересов. Славянофильство было его «первой идеологической любовью». В особенности он увлекался статьями И. А. Аксакова, тетрадки журнала которого, «Русь», им «с увлечением» прочитывались от корки до корки. На склоне лет он вспоминал о том «детском радостном волнении», которое вызвала в нем первая встреча с Аксаковым в 1882 году («Русская Мысль», 1923, VI, стр. 349). Еще перед тем П. Б. написал для этого журнала какую-то статейку, — к сожалению, не удается установить, была ли она напечатана.

Аксаков ему представлялся «борцом за права человека и гражданина и за национальное начало»... Чтобы правильно понять значение этого определения, надо вспомнить, что речь идет не об Аксакове 1840-1850 годов, когда он писал гимны «Свободному Слову» и вел борьбу с полицией за право ношения бороды, в чем действительно была, правда, своеобразная, но несомненная борьба за права человека и гражданина. Последующие десятилетия не прошли бесследно. Теперь Аксаков был мужем Пютчевой, — этой «всероссийской лампадки», как ее, за ее ханжество, окрестил Щедрин, и неутомимой корреспондентки Победоносцева, — и в соответствии с этим от его собственных писаний веяло не только лампадным маслом, но и самой черной реакцией. «Русь», правда, еще повторяла филиппики против «бюрократии»; еще твердила о необходимости положить конец «петербургскому периоду» русской истории, но ее «национальное начало» уже явственно вырождалось в националистическую травлю инородцев, — поляков, прибалтийских немцев, особенно евреев. Письма из Северо-Западного края уже были полны прямых антисемитских выпадов, и совсем не случаен тот факт, что именно из этого лагеря, из лагеря паладинов позднего славянофильства, вышел кн. Шаховской, позднее эстляндский губернатор, который, по свидетельству его биографа (см. предисловие к т. 1 его архива),

первым раз'яснил Александру 3-му, что еврейские погромы начала 80-х годов были актом не анти-государственного, революционного бунтарства, а, наоборот, здоровой национальной реакцией против разлагающей деятельности еврейства. И действительно именно сюда, а не в официально консервативный лагерь Каткова, приводят поиски идеологических корней русского воинствующего антисемитизма, позднейшего «черносотенства»... При желании, конечно, и эту форму национализма можно об'явить борьбой за славянское «национальное начало». В идеологии «Руси» действительно имелись элементы, которые роднили ее с настроениями былых соратников Муравьева-Амурского, — вплоть до вражды против «несекомых сословий» и до своеобразной любви к «секому народу», который так нуждается в руководстве. С былого «просвещенного абсолютизма» осыпалась позолота, — наружу выступала его азиатская сущность, найти в которой элемент борьбы за «права человека и гражданина» можно только сквозь совсем потускневшую призму детских восторгов...

В качестве положительного наследия от этой полосы его жизни у Струве остался навсегда внимательный интерес к славяноведению. Еще гимназистом он бегал в университет на ученые диспуты по этим вопросам (в статье об акад. Ламанском он рассказывает, что был на диспуте последнего в 1885 году). Этот интерес он сохранил до конца, и в годы эмиграции на славянские темы откликнулся рядом статей, отрывочных, но богатых мыслями и обнаруживающих огромную эрудицию автора и в этой области.

Высвободиться из под этих влияний Струве начал очень рано, — уже в середине 80-х годов. По его собственному свидетельству, два автора оказали на него решающее влияние: Щедрин и Арсеньев, которых с 1884 года об'единила общая обложка книжек нового «Вестника Европы» (Струве-отец был подписчиком и этого журнала). По их статьям тех лет и по ссылкам на них в работах молодого Струве нетрудно проследить и пути, по которым шло их влияние, и характер его. Щедрин безжалостно разбивал славянофильскую идеализацию прошлого. Его «Пошехонские рассказы», «Мелочи жизни», «Пошехонская старина» и пр. убедительно показывали, что «золотым веком» это прошлое было только для «потомков лейб-компанцев, истопников и прочих дружинников» (см., напр., ссылку на это место в «Критических заметках», стр. 83), — что для страны в ее целом охрана этого прошлого была консервацией лишь отсталости, нищеты и бесправия. Цитаты и словечки,

которых немало в статьях молодого Струве, показывают, как много последний начал видеть сквозь призму шедринского сарказма, как многое он понял под влиянием последнего. Роль Арсеньева была иной. В те годы он вел кампанию защиты «великих реформ» 60-х годов от похода, вдохновителем которого был Победоносцев, в это время друг И. С. Аксакова. Очень осторожно и очень «умеренно», но в то же время и очень стойко, принципиально очень выдержано Арсеньев защищал принципы, которые были положены в основу реформ, и поднимал эту защиту до уровня общего спора о необходимости европеизации всей российской действительности.

На П. Б. свое воздействие Арсеньев оказывал не только со страниц «Вестника Европы». Как раз в те годы вокруг него сложился небольшой кружок учащейся молодежи, — студентов и гимназистов, — с которыми Арсеньев вел еженедельно беседы на литературно-общественно-политические темы. Участники кружка читали рефераты, которые подвергались разбору и т. д. Это был, конечно, не кружок революционеров. Арсеньев не мог проводить в нем никаких иных идей, кроме тех, которые он развивал в печати, — он мог только давать более определенные формулировки, делать более конкретные выводы. Почти несомненно, что в этом кружке шла речь и об Аксакове: в связи с его смертью (1886 г.) Арсеньев напечатал в «Вестнике Европы» статью, в которой проанализировал пути развития Аксакова. Едва ли можно сомневаться, что этот анализ был воспринят и Струве. Последний в этот кружок вошел, по-видимому, в 1885 году, — именно, этим годом он датирует свой переход в лагерь либералов. Год или два позднее он выступил в кружке с рефератом на общественно-литературную тему: о «Буре» Шекспира. И. В. Гессен вспоминает, с каким восторгом рассказывал об этом реферате К. К. Арсеньев, — обычно сдержанный на похвалы. Это было первое политическое крещение Струве: ему было тогда 16 или 17 лет... В старой России, еще со времени молодого Герцена, была установлена эта взаимосвязанность развития: чем сильнее был разгул «внешнего рабства», тем раньше пробуждалось стремление к «внутреннему освобождению».

4.

Либерализм для Струве был всегда, — по его собственному определению, — «утверждением неотъемлемых прав личности» («Россия и Славянство», июнь 1933 г.). Именно на

этом вопросе произошел его уход от его «первой идеологической любви». В своих воспоминаниях, главы которых напечатаны в «Славоник Ревью» (Лондон, т. 12-13), он настаивает, что, кроме этого детского романа, он знал только одну «идеологическую любовь» и что этой любовью был либерализм. Он проводит резкую грань между своим отношением к либерализму и отношением к социализму: либералом, — утверждает он, — он стал и по убеждению, и по страсти, в то время, как к социализму он пришел путем исключительно умственным. Социализм, — по его словам, — никогда не вызывал в нем иных эмоций, кроме чисто рассудочных. Изучение литературы о социализме внушило ему уверенность, что социализм есть «исторически неизбежный результат об'ективного процесса экономического развития» («Славоник Ревью» т. 12, стр. 577), — и именно поэтому он признал себя социалистом. Но интересовался последним, — по его утверждению, — он

«Исключительно, как идеологической силой, которая, в соответствии с той или иной социологической концепцией развития России, может быть обращена на завоевание политических и гражданских свобод» (т. 12, стр. 584).

Этот момент, — ультра-служебную роль социализма в своих концепциях, — Струве подчеркивает несколько раз, снова и снова возвращаясь к этой теме.

Историк не обязан принимать на веру каждое показание свидетеля, — особенно, если свидетель говорит о себе самом. Но данное об'яснение Струве находит подтверждение в ряде документов. Оно, конечно, не об'ясняет всего, что было в отношениях Струве к социализму; с другой стороны, его не следует брать слишком упрощенно, — не следует делать вывода, что Струве, называя себя тогда социалистом, просто лицемерил. Отношения эти были много более сложны, но указанное об'яснение Струве действительно является ключем к пониманию целой большой эпохи в его биографии.

Социалистом Струве себя признал, — по его рассказу, — в 1888 году, после ознакомления с работой немецкого профессора Рудольфа Майера: «Освободительная борьба четвертого сословия». Эта книга в этой роли — уже это одно более, чем характерно для Струве. Конец 1880-х и начала 1890-х годов, — время между разгромом «Народной Воли» и большими стачками в Петербурге, — характеризуется сильным идейным разбродом в рядах русской революционной интеллигенции. Ее

старые «властители дум» или ушли в прошлое, или были развенчаны. Новые еще не были признаны. Молодежь тем не менее искала и находила дорогу к социализму, но брела она самыми причудливыми путями. Изучая программные заявления, которые выходили в те годы из революционных кружков, мы наталкиваемся на самые неожиданные идеологические влияния. Но можно быть уверенным: если-б среди участников движения тех лет была произведена анкета, никто не указал бы на книгу Руд. Майера, как на работу, которая его обратила к социализму. Типичный немецкий профессор, без собственных оригинальных идей, он старательно собрал документы о ранних этапах рабочего движения и добросовестно изложил разные социалистические теории. Социализм он изучал, как интересное явление, с нужной объективностью, даже с симпатией, но, конечно, как посторонний наблюдатель. Этот труд в свое время сыграл известную роль: к нему обращались, когда была нужна та или другая справка; по нему изучали факты. Но зажигать пафосом социализма он никого не мог, ибо в самом авторе не было и намека на этот пафос... По этой книге сделаться социалистом мог, действительно, только тот, кто в социалистический лагерь шел без какой бы то ни было с т р а с т и.

Вскоре затем Струве прочел «Капитал» Маркса, — и стал марксистом. Это было только выводом из предыдущего: марксизм был наиболее научной системой в ряду социалистических теорий; это признавал и Руд. Майер, а Струве, при его ученой складке, если он становился социалистом, мог быть сторонником только научно наиболее обоснованной теории... Но марксизм «Капитала» был только интернациональной алгеброй марксизма, а Струве уже в то время искал расшифровку этой алгебры в применении к России, и совсем не случайно позднее он писал, что экономическому объяснению истории (в марксизме он всегда замечал прежде всего эту сторону) он учился «не только по «Капиталу» Маркса, но и из «Боярской Думы» Ключевского» («Сборник статей памяти Ключевского», стр. 458). С этой точки зрения поворотным моментом в его биографии явилась поездка за границу, совершенная в 1890 году. Он побывал в Германии и Швейцарии и закупил все, что мог достать, из социалистической литературы, немецкой и русской.

Из русской на него особенное впечатление произвели «Наши разногласия» Плеханова. Это тоже крайне характерно. История русского марксизма начинается двумя основными работами Плеханова: «Социализм и политическая борьба» и «Наши разногласия». В первой из них Плеханов под углом

марксистской теории разбирал основную проблему, выдвинутую русским социалистическим движением предшествующих лет, — проблему взаимоотношения между политической борьбой и борьбой за социализм. Об этой работе Струве нигде не упоминает: она явно не произвела на него большого впечатления и не могла произвести, т. к. была написана с точки зрения человека, для которого решающим критерием были интересы борьбы за социализм. Людей этого лагеря Плеханов убеждал, что политические свободы и демократия не помешают делу борьбы за социализм, а, наоборот, помогут ему, — что только через них и лежит путь к социализму. Искания Струве шли в совсем иной плоскости. Его не интересовала задача реабилитации политической свободы. Последняя была его основной целью, и весь вопрос был в том, как можно к ней прийти: какими путями, с помощью каких сил?

Проблема этих путей и этих сил была темой второй из указанных книг Плеханова, «Наших разногласий», в которой он доказывал, что ликвидация абсолютизма может прийти лишь в результате перегруппировки общественных сил, вызываемой развитием капитализма. «За капитализм, — ставил он свой диагноз, — вся динамика нашей общественной жизни, все те силы, которые развиваются при движении социального механизма и в свою очередь определяют направление и скорость его движения. Против капитализма лишь более или менее сомнительные интересы некоторой части крестьянства, да та сила инерции, которая по временам так больно дает себя чувствовать развитым людям всякой отсталой, земледельческой страны». Но давая такую оценку объективной роли капитализма, Плеханов был далек от преклонения перед последним. Экономика, — развитие в России капитализма, — для него была лишь предпосылкой для определенных социальных и политических выводов. Таким выводом было обращение Плеханова к «развитым людям» (писаревская формулировка, еще более определенно выступающая в других местах, где он говорит о «мыслящем пролетариате») с призывом направить свои усилия на работу по «медленному политическому воспитанию рабочего класса» (изд. 1885 г., стр. 207 и 311). Это воспитание включало и подготовку к борьбе против социально вредных сторон развития капитализма...

Струве, по его собственному рассказу, в этой книге больше всего захватили ее экономический анализ и критика народничества. Он восторженно принял даваемую Плехановым оценку капитализма, но не его общую концепцию развития.

В его марксизме э к о н о м и к а с самого начала оттесняла на задний план с о ц и о л о г и ю . . .

С Плехановым лично в этот приезд Струве не познакомился. Русскую зарубежную литературу провезти в Россию он не пытался, хотя нужда в ней в Петербурге была крайне остра: этот провоз был связан с риском. За год перед тем Потресов, который вскоре стал другом Струве, на такой риск пошел и, весь обвязав себя книгами, привез в Россию полное собрание сочинений Герцена, которыми он тогда увлекался. Для такого риска нужен был элемент с т р а с т и, — той самой, которой у Струве, как он сам признает, в его отношениях к социализму не было. В Россию он привез только библиотечку немецкой социалистической литературы, по которой можно было изучать интернациональную алгебру марксизма, но не его российскую арифметику...

5.

К концу 1890 года, т. е. ко времени, непосредственно следовавшему за его поездкой за границу, относится его первое марксистское выступление: доклад о Марксе, прочитанный в университетском семинарии для практических занятий по политической экономии. Об этом докладе мы знаем лишь по воспоминаниям одного из слушателей, — А. М. Водена, которому врезалась в память особенная заостренность формулировок докладчика в вопросе об отношении марксизма к этике: Струве утверждал, что в марксизме «нет ни грамма этики» («Летоп. Марксизма», вып. 3, стр. 74). Для тех, кто помнит лишь позднейшего Струве, когда вопросы этики играли огромную роль в его миросозерцании, этот рассказ о 1890 году может показаться маловероятным. Но ранние произведения Струве полностью подтверждают воспоминания Водена: для марксизма Струве это отрицание этики больше, чем характерно. Оно было не только логичным, но и необходимым выводом из его основной установки, — из подчинения всех социальных проблем проблеме экономического прогресса.

С полной ясностью эти особенности его концепции выступили в его первой книге, — в «Критических заметках к вопросу об экономическом развитии России» (1894 г.). В основе соответствующей части его построений лежала правильная мысль: «прогресс экономический есть необходимое условие прогресса социального» (стр. 133). Но расшифровывал ее он далеко не правильно: прогресс социальный не

является автоматическим результатом прогресса экономического, — он приходит лишь в итоге благоприятной группировки социальных сил. Если этой группировки нет, прогресс экономический может быть связан не с прогрессом социальным, а даже с резким регрессом. Этот последний момент выпадал из поля зрения Струве, — и он превращался в апологета экономического прогресса, каковы бы ни были его социальные последствия. Старая фраза: «без античного рабства не было бы современного социализма» (Струве ее цитирует) звучит больше, чем двусмысленно даже в тех случаях, когда она обращена исключительно в прошлое. Социалист по страсти свой род ведет не от античных рабовладельцев, а скорее от рабов, которые устраивали восстания против последних, — и совсем не случаен тот факт, что Маркс, на вопрос своей юной дочери, ответил, что его любимым героем древности является именно Спартак, вождь восставших рабов.

Но в прошлом мы имеем дело с уже подведенным итогом социальных конфликтов, оказать влияние на формирование сил для которых современный историк не имеет никакой возможности. Совсем по иному обстоит дело в настоящем, когда идет процесс формирования социальных сил для грядущих боев и когда от активности отдельных социальных групп и даже отдельных личностей зависит многое в той конкретной форме, в которой будет проведена социальная реализация результатов экономического прогресса. В этих условиях рассуждения об «античном рабстве» часто ведут к соблазну квиетистского примирения с той или иной формой рабства современного, — к стремлению уклониться от тяжелой, но необходимой борьбы. Из истории мы знаем, что этот соблазн никогда не выступает в оголенной неприглядности. Изворотливая мысль находит заманчивые формулы. Обычно это бывает та или иная редакция нацшеанских рассуждений о «любви к дальнему», во имя которой совершается отказ от борьбы, которой требует «любовь к ближнему», — дается согласие принести этого последнего в жертву на алтаре церкви будущего (Ницше совсем не случайно был так популярен в журналистике легального марксизма). Но как бы ни менялись эти формулы, как бы различно ни звучали слова, за ними всегда скрывается одно и то же существо: отход изрекающих от основы социализма, — от тех гуманистических корней, на базе которых выросла идеология современного социализма (хотя бы она и воспользовалась результатом экономического прогресса, творимого силами, враждебными гуманизму).

Именно в этом было значение и концепций Струве с его борьбой против этики. Нельзя не отметить, что этот идеологический зигзаг в те годы был характерен не для одного Струве. В частности, именно в этой области наблюдалось некоторое сближение между ним и тогдашним Лениным, хотя, вообще говоря, они стояли на диаметрально противоположных крыльях молодого российского марксизма. Наиболее характерно в этом отношении их сближение в оценке голода 1891-1892 годов. Как известно, Ленин тогда жил в Самаре, т. е. в самом центре пораженного голодом района, и выступал против помощи голодающим, так как считал нецелесообразной трату сил на борьбу против последствий исторически неотвратимого процесса³). Об аналогичных выступлениях Струве указаний не имеется; человек несравненно более тонкий, чем Ленин, он едва ли мог делать такие прямолинейные выводы, но на последствия голода для экономики России он смотрел именно так, как на них тогда смотрел Ленин; он был «почти уверен», что в результате голода

«от экономической самостоятельности (и прежде очень подозрительной) русского земледельца скоро не останется и следа. И голоду будет принадлежать значительная доля этой заслуги» (из письма Струве к Потресову от лета 1892 года).

Иными словами: с точки зрения тогдашнего Струве голод выполнял исторически прогрессивную работу, — имел свои исторические «заслуги»... Так мыслить можно было, действительно, лишь после того, как из марксизма была выпотрошена вся «этика», — все гуманистическое содержание социализма...

6.

В этих условиях дело с «утверждением неотъемлемых прав личности» не могло не обстоять весьма плохо. Суб'ективно Струве от них не отказывался, но с его концепциями борьба за них была связана очень слабо; органического места для них в его концепциях не оказывалось. В этих концепциях личность вообще была на положении, которое в тогдашней действитель-

³) Характерно, что в наше время официальные биографы Ленина обходят полным молчанием вопрос о позиции Ленина в 1891 году, — даже когда пишут специально об этом периоде его жизни (ср., напр., статьи проф. Б. Волгина в «Историч. Журнале» за 1943-1944 г.г.).

ности занимали евреи, не имеющие права жительства. «Личность в смысле индивидуальности», — писал Струве, — так «безгранично многообразна», что

«устранение личности из социологии есть в сущности только частный случай стремления к научному познанию» («Крит. Зам.», стр. 33).

Отсюда не могло не выростать то противоречие между «идеей свободы и исторической необходимостью», которое лежало в подоснове всех философских обобщений Струве-марксиста и которое предопределяло неизбежность крутых переломов в его дальнейшем идеологическом развитии. В 1894 году Струве еще не ставил проблему в ее развернутой формулировке, а ограничивался чисто механическим ее устранением со своей дороги, декретируя отсутствие как необходимости, так и возможности поисков закономерного объяснения личности вообще (это отметил еще Милюков во втором томе своих «Очерков по истории русской культуры»).

Внешне такая трактовка проблемы личности выглядела, как почти предельное умаление ее роли. Так книга Струве и была воспринята тогдашним читателем. Но в то же время эта концепция содержала в себе элементы, которые делали закономерными и совершенно иные выводы, в совершенно ином направлении: личность, устраненная из социологии, в конечном счете могла обладать большей свободой в выборе индивидуальных путей, чем даже «критически мыслящая личность» недавнего народнического прошлого. Для нее были открыты все пути, — без тех запретов, которые налагал «категорический императив» Лаврова. П о л и т и ч е с к и е скитания Струве тех лет не оставляют сомнений, что именно такую роль эти философские послышки играли и в его личном сознании.

П о л и т и ч е с к о е самоопределение молодого Струве шло не по одной линии. В университете начала 1890-х годов он был одной из наиболее известных фигур, как «отменно начитанный» марксист и признанный лидер студенческих объединений взаимопомощи. Но когда молодежь, полная революционного пыла, обращалась к нему за советом, то ответы Струве ее не удовлетворяли. «Не поймешь его, — не то он немецкий социал-демократ, не то либерал из «Вестника Европы» — рассказывал зимой 1891-1892 года один из таких собеседников Струве, первокурсник Ставский, член кружка,

колебавшегося между народовольчеством и марксизмом (Мартов: «Записки социал-демократа», стр. 91). Нет сомнения, причина непонимания в значительной доле лежала и в Ставском, но две линии политической позиции Струве он подметил правильно.

Его политические выводы оформлялись прежде всего по линии немецкой социал-демократии, с деятельностью которой он рано ознакомился и к которой он проникся огромным уважением⁴). Тип немецкого социал-демократа, которого судьба забросила в Россию и который сохраняет свой немецкий социал-демократизм, оставаясь «чужестранцем» для русских дел, тогда был достаточно известен. В Петербурге его представителем был проф. Явейн: преданный член немецкой партии, он вел регулярные сношения с редакцией ее центрального органа, который тогда выходил в изгнании, в Цюрихе, поддерживал последний материально и посылал информацию о русских делах (в архиве секретаря этого органа, Германа Шлютера, автор этих строк нашел несколько десятков писем Явейна), но от русского движения старательно держался в стороне и только иногда позволял отдельным его представителям пользоваться книгами из своей богатой немецкой библиотеки. Русские дела Струве не считал для себя чужими; именно над ними он больше всего ломал голову, но своими же для него в то время были и политические и идеологические искания немецкой социал-демократии. Одним из первых он заинтересовался проблемой формирования политических взглядов Маркса, производил раскопки в старой литературе и вытаскивал оттуда забытые статьи Маркса, пропитанные напряженной страстью кануна 1848 года. По ним он проделывал свой путь развития от либерализма к революции, и нет ничего удивительного, если для определения ее этапов он брал не новые, а старые немецкие термины. Характерная деталь: весной 1894 г., в период составления «Критических Заметок», Струве пришлось встретиться с проф. А. Скворцовым, который ортодоксальный марксизм в области экономической теории соединял с защитой хозяйствен-

⁴) Еще в 1912 году, т. е. в период, когда по русской линии он вел уже самую решительную борьбу против социалистов, на вопрос одного из своих друзей, за кого он голосовал бы, если-б ему пришлось участвовать в выборах в немецкий райхстаг, Струве, после некоторого колебания, признался, что он, несмотря ни на что, все же проголосовал бы за с.-д.

ной политики Витте⁵); об этой встрече Струве писал Потресову:

«Скворцов показался мне очень умным, — как я того и ожидал, — и безусловно порядочным человеком. Но лично мне он не понравился. Он совсем не наш, т. е. он марксист, не будучи коммунистом» (подчеркнуто самим Струве).

Себя Струве явно считал тогда коммунистом, — конечно, в том смысле этого слова, которое в него вкладывал Маркс времен «Немецкой идеологии» и «Коммунистического манифеста». В 1890-х годов термин коммунист совсем не был известен, — ни в русском, ни в международном социалистическом движении.

От практической деятельности русских учеников Маркса Струве тех лет был еще более далек, чем от их терминологии. В мемуарной литературе сохранился рассказ о попытке Струве «пойти в народ», — об его визите в рабочий кружок: плохой вообще оратор, на собрании кружка он чувствовал себя совсем неловко, стеснялся, говорил сбивчиво и очень сложно... Рабочие были недовольны и ворчали, что им прислали мало подготовленного пропагандиста, — еще больше был недоволен, конечно, сам Струве. «В народ» он больше не ходил!

7.

Совсем иначе он себя чувствовал в другой среде, в среде русских либералов, и это была вторая линия формирования его политических выводов. Своих связей с Арсеньевым и его друзьями Струве, став марксистом, не порвал. Наоборот, именно в это время они расширились и окрепли. К 1890 году он относит начало своих сношений с Родичевым и другими либералами-земцами Тверской губернии, которая с начала эпохи «великих реформ» стала центром земского либерализма всей России вообще. Ни различие в летах, ни разница мировоззрений не мешали сближению не только личному, но и политическому.

⁵) Не лишне отметить попутно, что к защите этой политики был склонен и Струве: в своих английских воспоминаниях он сообщает, что в первоначальной редакции «Критических Заметок» он защищал протекционизм Витте, и только настояния Потресова заставили его устранить соответствующие абзацы.

В начале того периода, о котором сейчас идет речь, в центре забот тверских земцев стояла защита земства от натиска реакционных «реформаторов». Это была та самая борьба, которую в литературе вел Арсеньев, только тверитяне ее вели на практике повседневной работы. Голодные годы встряхнули и Тверь, хотя эта губерния сама голодом не была захвачена. Под впечатлением неурожая был выдвинут вопрос об агрономической помощи крестьянству, этот вопрос упирался в вопрос о грамотности. Тверь была тесно связана со столицей, — между прочим, через того же Арсеньева, — и постановка вопроса о грамотности дала толчек к оживлению работы петербургского Комитета по распространению грамотности, в котором Арсеньев играл одну из руководящих ролей. Оживление начало намечаться и в Вольно-Экономическом обществе, где люди, связанные с земствами, начали поднимать такие вопросы, как отмена телесного наказания, как новый закон об оценке недвижимостей, денежная реформа Витте и пр. Из Твери же шли и первые попытки создания какого то суррогата объединения земств: первое совещание по этому вопросу было создано Петрункевичем в конце 1892 года, — в числе его участников находился Д. И. Шаховской, близкий друг Струве.

Смерть Александра III и вступление на престол Николая II ускорили внесение политического элемента в начинавшееся движение. В конце 1894 года в Петербурге, у Стаховича, состоялось частное совещание нескольких земцев, — среди них был ряд хороших знакомых Струве: Родичев, Корсаков и др. (Веселовский: «История земства», III, стр. 500), — приведшее к сговору о введении политических заявлений в те адреса, которые земские собрания должны были посылать новому государю. Особенно горячо на этом настаивал Родичев, который и стал автором адреса, принятого 20 декабря 1894 года тверским губернским земским собранием. Адрес этот по своему содержанию был больше, чем умеренным; Д. И. Шаховской, по свежим следам составивший сводку материалов об этой кампании адресов, был вполне прав, когда писал, что

«представляя из себя довольно полное перечисление насущных потребностей страны, адреса эти остаются всецело на почве существующего государственного строя и вовсе не касаются форм правления» (С. Мирный: «Адреса земств 1894-1895 годов и их политическая программа», Женева, 1896).

Но в обстановке тех дней эти выступления были определенной

политической демонстрацией; особенно это верно в отношении Твери, где речь Родичева, произнесенная на земском собрании, была насыщена политическим протестом (отчет об этом собрании напечатан в «Летучих Листках, издаваемых Фондом Вольной Русской Прессы», 1895 г., № 18). Но действительно значительным политическим актом эти выступления сделало правительство, — сначала опубликованием резолюции Николая о «неуместной выходке» Тверских гласных, а затем его же знаменитой речью о «бессмысленных мечтаниях»...

Струве был тесно связан с главными действующими лицами всех этих попыток и несомненно был в курсе их подготовительной работы. Он же подвел политический итог всей кампании: 17 января 1895 года Николай II произнес свою речь перед земскими делегатами, а уже 19-го, одновременно с опубликованием этой речи в «Прав. Вестн.», по Петербургу был распространен гектографированный листок: «Открытое письмо к Николаю II.

«День 17 января уничтожил тот ореол, которым многие русские люди окружили Ваш неясный, молодой облик... Вы вызвали восторг тех, кто готов служить всякой силе, ни мало не думая об общем благе... Но всю мирно стремящуюся вперед часть общества вы оттолкнули... Вы первый начали борьбу, — и борьба не заставит себя ждать» (Бурцев: «За 100 лет», стр. 266-267).

Автором этого «письма» был Струве, который написал его под свежим впечатлением от рассказов участников делегации, своими ушами слышавших слова Николая. Сам Струве рассказал и историю появления в свет этого документа: первым он прочел его Потресову, который в это время был фактическим представителем в Петербурге группы «Освобождения Труда»: Потресов его одобрил; тогда вместе с Потресовым они наладили и его размножение, — на гектографе, который имелся в книжном складе А. М. Калмыковой; в печатании участие приняли А. П. Штевен, Д. И. Шаховской и К. К. Бауер. Этот состав в высшей степени показателен для того блока, который складывался тогда вокруг Струве, равно, как показательны и пути, по которым они позднее разошлись. Штевен была видной деятельницей народного образования, организаторшей народных школ в Новгородской губернии, ведшей войну против Победоносцева, который насаждал школы церковно-приходские; в том же 1895 году правительство запретило

ей заниматься школьным делом и она вскоре умерла, до конца оставшись энтузиасткой-культурницей. Культурницей начала свою политическую жизнь и А. М. Калмыкова, вдова генерала; под влиянием Струве она стала марксистской, участвовала в издании «Нового Слова» и «Начала», помогала в создании «Искры»; позднее «приняла» большевицкую революцию и умерла в 1925 году в доме «ветеранов революции». К. К. Бауер, близкий друг Струве, погиб в декабрьские дни 1905 года в Харькове, где он работал в рядах меньшевиков. Кн. Д. И. Шаховской, внук декабриста и видный деятель к.-д. партии, секретарь Первой Государственной Думы, умер в России несколько лет тому назад: он всю жизнь работал над историей русского либерализма, знал ее действительно во всех деталях, многое подготовил к печати, но напечатать этих работ не смог, т. к. большевиками эта тема, даже в строго исторической трактовке, рассматривается, как запретная...

Эту группу, пеструю и по социальному составу, и по общественно-политическим настроениям, объединяла общая работа в тех самых легальных организациях, о которых было упомянуто выше: в Комитете Грамотности, в Вольно-экономическом обществе и др. Эти организации как раз тогда сделались небольшими центрами, где представители демократической интеллигенции и писательского мира вступали в соприкосновение и с либеральными «цензовиками», и с фрондирующими бюрократами. Людей, которые работали в этих организациях, само их положение делало в известных отношениях центрами, к которым с разных сторон тянулись нити всевозможных связей. Сила Струве именно в том и была, что он был рупором настроения именно этой группы людей, их «идеологом».

Его «Открытое письмо» произвело большое впечатление. Его многократно перепечатывали всевозможными способами, как внутри России, так и за границей. Попало оно и в иностранную прессу. Оно не только появилось в удачное время, когда общее настроение было напряжено; оно и составлено было и с большим тактом, и с еще большим политическим чутьем. Имя автора, конечно, в печати оглашено не было, но оно было довольно широко известно, и это сильно повышало авторитет Струве.

8.

«Критические Заметки» навлекли на себя не мало критических ударов. Для автора наиболее чувствительными были,

конечно, удары, шедшие из тех самых кругов, принадлежащим к которым он себя считал. Таких ударов было не мало. Остро поставил вопрос Ленин, который на нелегальном собрании в Петербурге, в присутствии Струве, прочел доклад об его книге, озаглавив его: «Отражение марксизма в буржуазной литературе» («Соч.», т. 1, стр. 499); не менее остра была критика группы «самарских марксистов» (П. П. Маслов и др.). Заголовок Ленина был не оригинален: об «отражении Маркса в буржуазной литературе» говорил сам Струве в тех же самых «Критических Заметках». Но это не смягчало, а усиливало удар. Это много позднее, через 40 лет, в своих английских воспоминаниях Струве был готов весь свой марксистский период подвести под указанный ленинский заголовок; в середине 90-х годов он на это ни в коем случае не хотел согласиться, — и каждый, кому придется перечитать его переписку тех лет (автор этих строк читал его письма к Потресову, Засулич и др.), не сможет не признать, что во всяком случае субъективно он был тогда вполне искренен в своих протестах. Да и объективно дело было много более сложно. Потресов, несомненно, много ближе к исторической правде, когда в своих позднейших обзорах идейной борьбы указанного периода определяет «Критические Заметки», как документ, отметивший определенный момент в развитии русской демократической интеллигенции: признание ею капитализма, как неизбежного этапа, который предстоит пройти России на пути к освобождению («Общественное движение в начале XX века», т. 1, стр. 571). Этот документ объединил вокруг себя много разных групп, блок которых в дальнейшем должен был необходимо распасться, но для правильного понимания эпохи этот блок надо рассматривать не только под углом его последующего распада, но и под углом выяснения факторов, приведших к его созданию.

Что же касается до самого Струве, до субъективных моментов, определявших его поведение, то его собственные произведения позволяют понять, в какой именно плоскости нужно искать решения того противоречия, которое в его позиции, несомненно, существовало. Его «коммунизм», — это была «историческая необходимость»: признав определенные научные законы развития «экономического базиса», он не мог не перенести выводов из этого признания (к этому обязывала научная честность мышления) также и в область «идеологической надстройки». Тогдашний Струве хорошо помнил, что «бытие» должно определять «сознание»! Но, по его же схемам,

личность, ускользнувшая от действия неумолимых законов социологии, сохраняла «свободу» индивидуальных исканий. В качестве одной из таких личностей, Струве сближался с Родичевым и писал свое «Письмо», — за либералов и под их углом зрения подводя политический итог их выступлению...

Так устанавливалось равновесие, но равновесие, конечно, весьма и весьма неустойчивое. Долго сохранять его было невозможно. Маятник должен был качаться, и он, действительно, очень скоро качнулся: прежде всего в сторону укрепления элементов «коммунизма».

(Окончание следует)

Бор. Николаевский.